

Владимир
Мицких

ВОЙНА, КОТОРУЮ НЕ ЗАКОНЧИЛ ДЯДЯ КОЛЯ

«– Эй, пстабай! Шай шаркай – кишки паласкай! – вот уже третье утро ни свет ни заря будит нас весёлый, добрый голос чайханщика, но он подбрасывает на ноги, будто команда дневального: “Подъём!”, а то и того хуже – “Тре-во-га!”, хотя гостеприимный хозяин не торопит вставать: – Эй, джигит, скоро едешь – с арба упадешь!»

Никогда не был в алма-атинской квартире дяди Коли, не знаю даже, на какой улице он жил. Мучительно и бесполезно гадаю: в просторной комнате или в тесной кухне, у окна, а может, ближе к двери стоял стол, за которым он писал эти строки, начиная повесть «А война шла...» – незаконченную свою, смертью на полуслове прерванную повесть.

Он ушёл в 1984 году, успев или не успев встретить свой последний день рождения – и этого я не скажу сегодня, поскольку не у кого мне спросить ни о первой, ни о последней датах отмеренной ему земной жизни.

На следующий год, в самом его начале, в феврале, журнал «Простор» опубликовал главы из последнего произведения Николая Душкина.

Часть тиража «Простора», предназначенная для продажи в киосках «Союзпечати» Усть-Каменогорска, разошлась не полностью, и невостребованные экземпляры были уценены. По новой цене в 48 копеек, обозначенной в прямоугольном чернильном штампе на последней странице журнала, и отпустил склад «Союзпечати» бесценный для меня подарок от дяди Коли.

Как ни чумает жизнь, как ни разгоняется сошедшее с ума время, а возможно, именно по этой горькой, представляющейся уже непоправимой причине хотя бы раз в два-три года я перечитываю повесть «А война шла...» и, кажется, почти понимаю, чем привязывала к себе, влюбляла в себя и возвышала над собой тяжкая, трагическая эпоха, выпавшая на долю поколения, к которому принадлежал дядя Коля. И уже становится почти возможным объяснить, отчего и самый значительный русский писатель конца второго тысячелетия, так гневно, так непримиримо обличавший эту эпоху в непростительных грехах, так приветствовавший закат её, так ратовавший за новую очищающую-просветляющую грозу ли, зарю ли над измытаренной нашей отчизной, вдруг, неожиданно совсем, с очевидной сердечностью и нежной признательностью поклонился отвергнутому им прошлому и кинул леденящий душу камень в наступившее будущее, только вчера согретое его вдохновляющим приятием: «Я пришёл в мир добрый, родной и любил его



безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание. Виктор Астафьев».

Всё-таки, всё-таки, при всём при том и при этом, у отцов наших, в них самих и вокруг них, во времени, доставшемся им, в жизни, которой они жили, было нечто главное и дорогое, даже бесценное, чего нет в нас, вокруг нас, в нашем времени, в нашей жизни.

Господи милосердный, но как же хочется ошибиться! Вот живёт же в моей памяти дядя Коля, и снова я перечитываю повесть его, и не вечер ещё, и цыплят по осени считают, и на нашей улице праздник будет, и много ещё чего будет и есть на свете такого, что в любые времена оставляет русскому человеку хоть какую-то надежду!..

«Шли века, тихо тикая, пусть идут!..» Это я читаю дядю Колю – не знаю, цитирует он кого или сам так красиво придумал. Он мог и сам, всё-таки автор нескольких книг, в том числе поэтических, и член Союза писателей – того ещё Союза, не этого, в него кого ни попадя не принимали.

«Шли века, тихо тикая...» – повторяется и повторяется в повести эта фраза, ироничная и мудрая, поскольку звучит в ней спокойное признание человеком своей беспомощности перед этими самыми веками, но одновременно и незамеченности, исключительности своей, моднячим нынешним словом выражаясь – эксклюзивности: все и всякие века без человека мало чего значат или не значат вовсе ничего, ибо без человеческого присутствия и усилия ни оценить, ни понять, ни даже просто назвать и пересчитать себя не могут.

Фраза эта звучит из уст одного героя – «Паганеля», как другие действующие лица дяди Колиного произведения «перекрестили за его неуклюжесть и долговязость героя из кинокартины “Дети капитана Гранта” Роберта, а точнее – Яшку Сегеля, исполнявшего ещё мальчишкой эту роль в детском фильме».

Как Яшка Сегель в начале войны оказался слушателем ВВГМИ – Высшего военного гидрометеорологического института, эвакуированного из Ленинграда в Ленинабад, история занимательная, но пересказывать её не входит в мою задачу. Меня больше интересует сам автор Николай Душкин – в тексте Тимша, то есть Тимофей, Кадушкин. И ещё один человек, по имени Мишка, который появится только на тринадцатой странице повести и о котором, стало быть, пока говорить рановато.

За тыщи тыловых вёрст от древнего Ходжента – ни в какую стереотрубу не разглядеть даже с минарета мечети шейха Муслехеддина – идёт «бой не ради славы, ради жизни на земле», а рвущиеся туда, на фронт, молодые, уверенные в себе защитники Родины и будущие её герои разыскивают по указанию своих вконец задёрганных военкомов во глубине Евразии неведомую никому «ВЭГЭМеиду» и не понимают, куда они попали и зачем они здесь.

Извилистыми прихотливыми путями стекаются они из Алма-Аты и Ташкента, Павлодара и самого Ленинграда, и война, на которую они стремятся и которая всё обиднее удаляется от них, смешивает их, по преимуществу незнакомых и стопроцентно, порой до враждебности, разных, сначала в каком-то спортзале, потом в непригодном здании бывшего музыкального училища и без лишних нежностей, без всякого почти разбора вливает в то необъятное, корчащееся от страшного напряжения, многомиллионное общее, что являет собой армия воюющей державы или, если глядеть шире, – народ сражающейся страны.

Картинка – в начале, почти в самом зачине повести:

«...Прибыли мы в Ленинабад не то что засветло, а в самый полдень, и можно было успеть в военкомат или к коменданту, но, наученные ташкентскими мытарствами, перво-наперво решили “обеспечить тылы” и прямо с вокзала направили стопы свои в ближайшую чайхану.

Узнав, что мы алмаатинцы, но сюда переправлены из Ташкента, чайханщик брезгливо-брезгливо сморщился:

– Один сапог пара! Да и то не сапог – ишиг, – и бесслюнно сплюнул даже. – Што есть твой Ташкент-машкент? Ты такой урук ел там? Шорный, сақырный!

Урюк такой и вправду я никогда не то что не ел, а и не видел: крупный, до черноты коричневым, в прожилинах сахарных – будто солонец из него жаром выжало. И во рту – зубами коснись – крошится прямо, а на вкус – мёд мёдом, а то и слаще. И остальные уплетают, только губы облизывают. Один Анвар, вижу, чванится чего-то. И чайханщику вдруг, сплюнув тоже, но не бесслюнно, как тот, а разжёванным урюком под руку:

– Кисла твой урук! Алмаатинска яблoк лучше сладка!.. Апорт слышал?

– Молодец, жигит, своя земля любышь! – вроде бы от души ему чайханщик, но тут же: – Твой яблoк и наш коров квалит, мы силос ему ета апорт зима делаем.

Аж на ноги чуть не вскочил Анвар как ужаленный, да спасибо Яшка за плечо осадил его:

– А я вот из Москвы, ни абрикосы там, ни яблoки не растут, мне и похвастаться нечем!

– Ой, зашем урук-яблoк Москва растёт?! Сама пуст есть Москва – всякий прукт-овощ мы дадим – казах, узбек, таджик – вся народ. Москва один, Ташкент-машкент много. Клеб дадим, маса, клопка на халат наш боец дадим, бинтовка – вся дадим. Москва Гитлер толка не дадим!»

И через несколько страниц, удивляясь переменам в себе и сослуживцах своих, Душкин-Кадушкин высказывает догадку: «Да ведь это нас общая беда великая и примирила, и объединила. Сама Беда... Это она и в спортзал собрала нас не только из разных мест, но и таких непохожих судьбами и характерами... В доброе мирное время мы бы и часа, может, не пробыли вместе, не перессорившись, а вот под общей крышей Беды даже спим в обнимку на тесных матах-матрацах. Только вот почему ей, Бедо-то, против самой же себя нас объединять было? Другое, выходит, что-то свело нас?»

Вот этого эпизода я не хочу, не буду комментировать – пусть читатель, ежели он объявится, тут сам поразмыслит, так сказать, в контексте последнего времени. Тем более что пришёл момент вспомнить и о другом герое – вот он уже объявился, тот самый Мишка:

«...прибыло человек тридцать из Усть-Каменогорска, и старшина велел хоть на минутку поднять меня, чтобы я принял под своё начало и этих ребят.

– А вы, товарищ, будете заместителем Кадушкина!

Товарищ этот самый уж руку мне, да радостно так:

– Михаил! Наконец-то гора с плеч! Намыкался я с выводком этим по ташкентским просекам (“Таёжник, видно, да ещё охотник – просеки, выводок!”) Может, сам сладишь, без помощников?

Рука как рука, только уж очень жилистая, узловатая. И чёрная почти рядом с моей-то. И лицом, гляжу, цыгано-монгол какой-то.

– Да нет уж, – говорю, – за своими ребятами сам станешь приглядывать, ты их лучше знаешь.

– Откуда мне знать их – с бору по сосенке собраны...

– Но хоть ехали-то вместе же...»

Земляк мой, усть-каменогорский «цыгано-монгол», на последующих сорока страницах дяди Колиной повести поименован будет раз пятьдесят. Подвигами своими и хохмами превзойдёт он самого «Паганеля». Первым делом, поскольку иной промысловой живности в окрестностях не обнаружится, приволокёт в расположение парочку ощипанных ворон и скормит их вместо куриц голодным своим товарищам по оружию («Ворона – не филин хошь, но общипи – от косача не отличишь»). Затем припрёт со своим плюгавеньким, сморчком сущим, «денщиком Егоркой» полосатые кули с урюком – в сопровождении, правда, двух конных таджиков, накрывших «добытчиков» на месте сбора урожая («Это от наш колхоз вам. Подарка. Ишо там за ворота ишак ест с урукам. Кушай на здоровья. Карман столка не прынэсёшь... Прынымай куда. Мэшок колхоз надо... Ишо надо – ишо дадим. Попроси толко. Сам брать – у таджик такой закон нэт. Псё сам отдать – такой закон у таджик ест. Прыходы, нашальнык, кунак будэшь – плов, шай...»

– Уж и по ягоды сходить нельзя? – окрысится на налетевших было с руганью и кулаками ребят Мишка. – Думал, сады тутощные, что согра наша. Растёт калина-малина – рви себе. А коли так, попросить легше – язык не отсохнет».

Собрали кой-какой народ до кучи, перелистали личные дела из военкоматов – обнаружилось, что не у всех школа за плечами полная, таких из ста двадцати семи только сорок три выявилось. Их, согласно списку, перед строем объявленному, ждала баня «и квачи вонючие, и мыло жидкое, и парикмахер с нулёвкой», а остальным – «десять минут на сборы вещей и выходи во двор строиться». («Миш, а Миш! А меня зачитали?») – за полу Мишку «денщик» его Егорка. – «Всё ворон ловишь! – смахнул его руку сердито Мишка. – Нет!» – «Как же ты без меня-то?» – «Ты вот как без меня, а я-то уж как-нито! Собери барахлишко моё. Птичьи силки мне переложи – тебе, безмозглу, ни к чему они!»)

Да, вот так вот, не слёзы же лить, в самом деле...

Я и дальше намерен цитировать дядю Колю: мне бы вообще хотелось слово в слово пересказать эту историю всем на свете, но, увы, приходится ограничивать себя, с болью – сердце кровью исходит – вырывая из повести лишь маленькие фрагменты и отдельные фразы.

Пусть Российское авторское общество, выпави мне недоступное счастье издать когда-нибудь эту историю отдельной книжкой, а оно, общество, пожелав без корысти подсуетиться в защиту человека, покоящегося в земле соседней теперь страны, потребует обозначить на обложке не только мою фамилию (гонорар-то никому не светит) – ей-богу, не буду возражать. Не знаю только, как бы оценил мои сочинения сам дядя Коля Душкин.

В его архиве обнаружилась моя поэтическая брошюрка – первый, изданный в столице, молодогвардейский сборник «Честь флага» (теперь не всякий поверит – во Владивостоке можно было жить, в Москве издать книжку, а в Алма-Ате без проблем её приобрести) с пометой: «Письмо Володе». Много отдал бы я, чтобы письмо это было им написано, а мной получено, чтобы узнать мнение дяди Коли о моих, вполне вероятно и скорее всего, невыдающихся художественных

опытах, услышать совет, а доведись такое, и приговор: всё принял бы я от него с признательностью и доверием, как от отца родного. Но книжка появилась на свет в 1984 году – в этом году дяди Коли не стало...

А сейчас он со своими «с бору по сосенке», но уже приживлёнными друг к другу, даже, хоть до поры сами этого не осознают, породнившимися подчинёнными обустроивает с начала войны пустующий – концертный, видимо, – зал музучилища, отданного ВВГМИ.

Первое дело – самое простое и необходимое: возвести нары. С материалом «пся карашо», ежели иметь в виду сцену и полы в зале, из досок, естественно, сооружённые. В парилке-духовке, что зовётся Средней Азией, даже ребята из Алма-Аты, где тоже не холодно, готовы языки по-собачьи наружу вывалить (о сибиряках уже и речи нет), земляной пол даже и лучше будет – охолол какой-никакой от него, да и мыть-тереть не надо, только сбрызнуть иногда, чтобы не пылить, подметая, а то и травкой свежей притрусить.

Ан для простого дела и не хватает самого простого – инструмента. На поиски его отправлены будущие курсанты-слушатели Колька-павлодарец, Мишка-усть-каменогорец, да сам Тимша-алмаатинец. Цель у всех одна, дорожки к цели у каждого разные. Кадушкин по своей идёт.

«...в первой же чайхане хозяин сказал:

– Зашэм таджик тапор? Саксаул ломайт – тас, камен лучша, клопкава ветка – рука бот ест... Русска, может, кому ест тапор твоя».

На базаре Тимша знакомого встретил.

«...как родному брату обрадовался: местный же, если у самого нет, может, у соседей у кого инструмент какой есть.

– Бахытка, дружище! – обнимаю. – А вас что, по домам отпустили?

– Ой, зашэм домам? Заптра Чарджоу идом, который восемь-девят клас. Пекотный школ там. Я туда идом. Осталной – опять Ташкент, нобый дибизий какой-та... Он пронт скоро, военком скажит. Я туда просил – не пускайт. Твой школа тоже скоро ушит и сразу на война, скажит. “Прыказ”...

И этот “прыказ” опять резанул мне по сердцу, да больней ещё: “Самое большее весной Бахыт добьётся своего, а ты, Тимка, сиди, загорай тут, пока вовсе не дотлеешь под палящим солнцем цветущего Казахстана! Фу ты – Таджикистана!”

– Пила у тебя есть дома?

– Ой, как нэту?! Пойдом торопыща, спортзал мой скоро надо.

И мы и вправду чуть не вприпрыжку до Бахыткиного дома. Но всё же уловил он моё настроение:

– Зашэм сердита, Тимка? Моя тбой Россия защитит, тбоя мой Таджикистан охраняй.

– От кого его охранять-то? – не могу остыть. – И так его никто не украдёт.

– Ой, зашэм никто? Турция султан есть, Иран – шах. Тбоя русский цар ошэн лубыт коммунист? Шах тоже такой, султан тоже. Он Гитлер таварыш – тамыр. Басмаш пошлот, можит. Охраняй давай!

А у калитки Бахыт принялся уговаривать меня зайти:

– Ой, болшой конак будэш. Много плов, шай!

– Пила мне нужна! – опять я зло. – Пила, а не твой плов, понимаешь?

– Ой, как нэ понымайш? Сишас, – и нырнул в узенький лаз в дувале. “Наконец-то, – облегчённо вздохнул я, – хоть пилку принесу”. Но, о боже!.. Бахыт пред-

стал передо мной с полуметровой... Нет, не ножовкой! С высоченной стопкой сложенных одна в одну... пиалок!

– Да я же пилу у тебя просил! – прямо-таки взревел я.

– Ой, бас многа там, зашэм один пиала? – и тут не понял меня Бахыт. – Псем нада. Твоя тяжело – моя несу.

– Пила мне нужна, не пиала! Понимаешь?

– Ой, зашэм нэ понымайш?

Но он, конечно же, не понимал, чего я от него хочу. А когда я длинно-предлинно, и на словах, и на руках втолковал ему всё-таки, что такое “пила”, он только пожал плечами:

– Ой, зашэм такой пила таджик? – почти слово в слово, что и чайханщик о топоре мне. – Дом – глина, дувал – глина. Капат глина – кетмен ест, мешайт глина – нога ест, мазайт – рука вот ест. Лес нэту – зашэм таджик пила тбой?!

“А чего я, собственно, злюсь? Человек ко мне со всей душой, последнюю, может, посуду у матери выпросил, а то и тяпнул, чтобы только друзьям помочь”. И уже примирительно, улыбаясь:

– Отгартай назад. И миски у нас есть, и кружки. А если есть – вынеси лучше кетмень на всякий случай.

И тут же вспомнив, что ведь и нам вскрытый пол надо будет мазать, вдогонку Бахыту:

– Да, да, понадобится кетмень!»

Выручил опять устькаменогорец. Когда вернулся Кадушкин в расположение, там всю шла работа, руководил которой «топорных ли дел мастер и вправду краснодоревиц ли, как назвал его Мишка». И не пустого его Мишка привёл, а с плотницей переноской. Прозывался пришелец Савелием Фролычем Хворостовым, происходил – «околыш на вылинявшей фуражке, канты на рукавах и по воротнику старенького, изрядно потёртого кителя, галифе при лампасах» о том свидетельствовали – из казачьего, изничтоженного в отдалёющуюся крутую пору сословия. В молодые годы махал Савелий шашкой за красных против басмачей, случайно не был убит и оставлен не шибко пекущейся о человеке судьбой на развод. Влюбившись в местную красавицу, оженился и осел он в Ходженте: и в Туркестане способен прижиться русский мастеровой со своей тоской о бывшем и несбывшемся, лечась известным способом от родимой вселенской печали.

Тимша, оценив по достоинству Мишкину операцию, поинтересовался:

«– Где ты его выколулнул-то?..»

– Где же мастеровому человеку пораньше утречком быть? Знамо, в кабаке. Рука чтоб с похмелки не дрожала, глаз острей стал бы – тонкое дело у них, у мастеров-то настоящих!»

И во дворе «...заманил своего работника за сваленные в кучу стулья и дал ему глотнуть из горлышка припрятанной бутылки:

– По условию подряда... Договор дороже денег!»

Были на Мишкином счету поступки разнообразные.

«...втихаря и на хлеб игру в картишки затеял было, да спасибо Гаврила Ломовик, прознав про то, так ему вломил, что и внукам своим закажет других облапошивать.

– Хлеб тобы ни червони червонци, щоб на ёго у карты гуляты! Хлеб – цэ хлеб! Побачу ще – башку овэчью звэрну! Так ось!»

И свеклину кормовую – останцы с поля убранного – под подушкой у него находили – затаил, не поделился, обычай нарушив («Лёшка Челкашин после случая с треклятым бураком: “Подавься ты ею, скотина, она для тебя и рощена! Не нажрёшься никак!” А старшина глазами моргал только, будто сам виноватый: “Есть разобраться! Разберусь, товарищ комбат!” – А сам-то ты, Лёха, нажираешься? – спрашиваю. – Молчишь? То-то...»)

А Мишка – куркуль, мужик запасливый – на пустой ферме вскоре на закром со жмыхом плиточным натакался... В эшелоне уже, по дороге на фронт, «...айрану бурдюк под завязку от хозяйки разьезда приволок (“Не просил – сама навязала!”)». В Аральске по Мишкиной недоумке («...соли там навалом, а за неё и хлеб, и другое что выменяем. Беженцы говорят, она дальше дорожке золота») «...набили солью не только все имевшиеся в наличии сидоры, вещмешки, сумки, а и вёдер десять навалили под нижние нары, в россыпь». Сгодились соль, очень сгодились – ехали они долго.

Мишка даже... жениться успел по дороге. Дядя Коля рассказывает об этом происшествии так:

«...неподалёку от Пензы, на станции Пачелме нас даже военный комендант в книгу свою прописал на временное жительство.

– Должен я знать, кто больше недели по посёлку моему болтается? Натвори-те чего, а с меня спрос. Узнай потом, который из вас девку, положим, обласкать перестарается, либо ещё что. Молодость же!..

И как в воду глядел. Дня через три после “прописки” Мишка вдруг объявляет:

– Братцы, я женюсь!

Грохнули мы, понятно, чудит, думаем, а он на полном серьёзе:

– Всех завтра приглашаю на мою свадьбу!

– Да на ком хоть?

– Деваха, братцы, малина с мёдом! Да Сенька видел её.

– Когда я был на смотринах?!

– А как на хуторской вечорке с тобой гуляли.

– Да их там косой десяток выкобенивалось!..

– А которая в лапоточках отплясывала – пыль вихрем!..

– Ха, они там все в лаптях.

– То-то, что в лаптях, а не в ла-по-точках!

– Го-го-го!..

А дело, оказывается, так было. Когда остановились на последнем разъезде перед Пачелмой, и по всем признакам надолго, Мишка с Сенькой в посёлок, верстах в трёх от дороги, дунули поискать кой-какого товару. Дошли только, а поезд возьми да “ту-ту!” и тю-тю. Смеркалось, и они прямо к девичьей вечорке угодили. Торопиться некуда: всё равно состав другим попутным догонять – так завтра лучше, по свету. А тут веселье такое – пройдёшь мимо разве? Парнишка лет пятнадцати (“Один парень на деревню!”) на бандуре с присвистом наяривает, девки частушки под трепака чешут. Ну, они и влились в эту свистопляску! Легко даже: Мишка-то за словом в карман не полезет. Ну, а Сенька навроде денщика у него. Успех полнейший! В конце вечорки даже на ночлег определиться пробовали к кому-нито из девок под бочок, да не вышло.

– Мы в Пензу пешком ходим, а вы до Пачелмы боитесь! Вёрст пять тутока, не боле...

– Тогда проводите нас, если смелые такие.

– А и проводим, не испугаемся.

И к подружкам:

– Проводим, Лен? А, Наташ?..

– Давай, коли трусят. Только и Васька пушай с нами (бандурист это).

И проводили. Правда, не до самой станции, а до дороги только столбовой, коя и “сляпца” доведёт. Шли попарно: Наташ которая – сама Мишку под руку взяла Лен к Сеньке пристроилась, а сзади Васька с той, что проводы организовала. Ну проводили и проводили, Сенька уж и позабыл об этом, а Мишка тайком на хуторок тот, оказывается, зачистил-повадился. И надо же, в неделю какую-то слюбились-столковались.

– Вам хорошо, братцы, каждого кто-нибудь из родных с войны ждать будет. А меня – детдомовца без роду, без племени – некому! Мы с Натальюшкой в сельсовете расписались. Так что, братцы, завтра к четырём милости просим!

– Ого, пять вёрст киселя хлебать! – хлебавший уже эти вёрсты Сенька.

– За кого ты меня принимаешь? Всё продумано. У Натальюшки моей тётка тут в доме своём. Тёща кабанчика завалила, гусят-утят там... И первача по стакашку найдётся.

...И была свадьба. И всё на ней как полагается: и невеста в фате кисейной (великоватой чуток, правда: материнной, а то и бабкиной ещё, может); и жених – Мишка то бишь – со цветочком гераневым в нагрудном кармане; и подружки – мы с Сенькой – наскоро полотенцами через плечо перепоясанные; и подружки-песенницы; и даже музыка – Васька-балалаечник; и речи, понятно, поздравительные держали; “горько” орали, а молодые стыдливо и неумело целовались. А невеста – и впрямь хороша, писаная красавица русская. Переобуй её из ла-по-точков в туфельки, приодень в шелка – что твоя сказочная царевна!

И перед концом и сам жених слово взял:

– Не улыбайтесь, мама (к тёще это он...), что, мало знавши друг дружку, мы с Натальюшкой обженились. Ведь в народе говорят, хоть сколь любись, а пока вместе пуд соли не съешь, друг дружку не узнаешь. Так вот, жёнушка милая, разлюбозная, я тебе полпуда соли оставляю и с собой на войну столько же возьму. И вам, мама, пуд, чтоб Натальюшкину не трогали – пусть до единой крупички сама съест.

И не успели мы рассмеяться, как Мишка из какого-то закутка выволок полным-полнёхонький вещмешок соли и прямо на середину стола его – бух!

– Ешьте на здоровьице и меня вспоминайте!

А когда уходить собрались да прощаться с хозяевами, Мишка тоже, гляжу, со всеми ими расцеловывается – и с тёщей-мамой своей, и с Натальюшкой-жёнушкой, и с тётушкой её, с подружками даже. И вместе с нами из дому вышел – проводить гостей, – подумал я. И с ехидцей ещё: “Эвон какой влюблённый – без поцелуев и на минуту расстаться не может”.

А он до самых вагонов и на нары уж вроде норовит.

– Ты чего это, Миш, – за плечо его сзади, – уж не тут ли дрыхнуть примеряешься?

– А где ж ещё? – поворачивается.

– Так первая брачная ночь же, чудик!

– Может, и чудик, но только сам сирота – не хочу сирот плодить. Не убьют, ворочусь к своей Натальюшке, тогда и медовый месяц справим... – и полез на верхотуру.

А я дар речи потерял от поворота такого. Не знал я, выходит, Мишку, хоть думал, что насквозь вижу...»

Запал, по всему видно, в душу дяде Коле этот цыгано-монгол, если и на предпоследней странице повести, когда добрались солдаты-азиаты до первопрестольной, опять же Мишке вложил он в уста важные для всех слова:

– Площадь бы Красную хоть поглядеть. Мавзолей.

И заканчивается незаконченная повесть – тоже Мишкой: «...мне повезло. Да ещё как! Хоть всего восьмерым из всей группы дали в этот день назначения, я оказался в числе их, да ещё со мной в одну часть угодил Мишка... А с Мишкой не пропадёшь...»

Далеко-далече всё это теперь и принадлежит нам лишь настолько, насколько знаем да помним. Не шибко знаем, если честно, не свято помним, если по правде сказать. Жизнь ныне другая, оглядываться назад не любит, и скорости у неё – космические. Бежим мы по жизни быстро, а успеваем мало. Вот и читать почти перестали – за это денег не платят. И писать теперь надо не так, как раньше. Чтоб открыл, откинулся ненадолго, поржал, або испужнулся до мокроты в труснях, либо слюну пустил и – закрыл, более не тратя дорогого времени и не обливаясь слезами над вымыслом, слёз и без того на всё не хватает. Но я человек отсталый, прогрессивно стареющий, а в смысле чтения полностью безнадёжный, не исправиться уже, как, наверное, не исправиться никому из тех, которые, по замечанию потрясающего поэта Павла Васильева, ещё «Калинушку» певали и Некрасова читали – после Некрасова ведь от приговых-сорокиных и иже с ними несварение можно получить.

По сердцу мне уважительное течение мысли, подробная работа слова и бережное погружение в память о былом, откуда ясней видится сущее и грядущее. Потому жалко, что быстро оборвалась дяди Колина повесть. С другой стороны, тайн на свете всегда больше, чем открытий: стилем исчерпать жизнь недоступно и кистью всю как есть не нарисуешь, и скульпторским долотом во всеобъемлющий монумент не обратишь. Может, лишь музыка способна разом весь мир обнять, но она непредставима, в ней детали – слишком обобщённые, им персональности не хватает.

Есть только одно искусство, один жанр, проникающий во все времена и даже отдельно взятые личные судьбы, – сочувствие-сопереживание, и один инструмент, которому оно даётся, который умеет видеть всё. Прав Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце...»

Кратка повесть дяди Коли, но в меру своей сердечности вижу я, что предшествовало ей и отчасти – что было после. Край Алтайский, район Кытмановский, село Усть-Боровушка – там родился Николай Степанович Душкин, там он испытал то, о чём не пишет в повести своей, но о чём я точно знаю. Вот мама ходит по горнице, тихо ступая; за замороженным избяным оконцем ещё долго будет темно; с пода сквозь щель под печной заслонкой тепло накатывает дух уже прихваченного розовой корочкой высокого круглого хлеба; вставать время не подошло, но Коля проснулся под нечаянный стук ухвата; глаза у Коли закрыты, однако веки слегка подрагивают; телу покойно, душе уютно; в дому, во всей Усть-Боровушке, во всём свете необъятном – умиротворяющая надёжность; мама бессмертна, жизнь впереди – бесконечна и полна неизведанного, неизбежного счастья...

Умирая, распорядился дядя Коля своим, думаю я, невеликим наследством, завещая, в частности, отцу моему несносимый кожан – длинный, старого кроя, чёрный плащ-реглан, весь целёхонький и почти нигде не потёртый, с добротным ремнём по поясу и клапанами на глубоких карманах. Теперь у меня появилось основание думать, что реглан этот – бывший офицерский, не исключено – трофейный, и что дядя Коля, возможно, сам был офицером. Может статься, плащ сбережён в сохранности специально, чтоб кому-то быть подаренным – в солнечной Алма-Ате, при желании, без него обойтись нетрудно.

Плащ этот снимали с отца четверо молодых здоровяков – на Аблакетке, оторванной и пользующейся не лучшей славой окраине Усть-Каменогорска, в тёмное время и в полном одиночестве принял мой старик неравный бой, в результате которого одному из бандюг сломал руку, а кому-то ещё нанёс иные потраты, так что добры молодцы пытались даже взыскать с отца через суд компенсацию.

Аблакетской истории дядя Коля уже не знает, если только не дано ему видеть оттуда происходившее с его последними на земле друзьями.

Станный отец мой, однако, не очень распространяясь о своём победном сражении с ворьём (о чём случайно я услышал в отпуске), пытался вовсе скрыть от меня сам факт выхода в свет дяди Колиного произведения и до последней возможности препятствовал покупке со склада «Союзпечати» уценённых номеров журнала. Не подсказки добрые люди, я бы никогда не прочёл повести «А война шла...».

– Это правда? – спросил я потом отца.

Он долго молчал в телефон, прежде чем ответить:

– Ты сам знаешь, автор имеет право на вымысел.

Больше я не смог от него ничего добиться. Отец не искал встреч до самого моего отъезда из Усть-Каменогорска и в другие мои отпуска от объяснений, где же в повести правда, а где писательский домысел-вымысел, твёрдо-натвердо уклонился.

Дело в том, что Мишка из Усть-Каменогорска – это он и есть, отец мой родной, Михаил Тыцких. В повести он выведен под фамилией Тырских – дядя Коля к своей фамилии Душкин прибавил две буквы – Кадушкин, а в фамилии отца двумя буквами заменил одну. Портрет отца, и внутренний и внешний, насколько я знаю своего родителя, довольно точен.

Отец действительно учился в Высшем военном гидрометеорологическом институте после эвакуации последнего из Ленинграда в Среднюю Азию. В военном билете отца в графе об образовании была помета: «I курс ВВГМИ» – я сам в детстве не однажды разглядывал документ (батя не был бы батей, не приписав к одному курсу ещё два, причём сделал это, скорее всего, по нетрезвому вдохновению – приписка кричаще выделялась цветом чернил).

Применительно к отцу только пару деталей из всей повести я могу поставить под сомнение и ещё одну – уверенно опровергнуть. Герои повести не задержались в ВВГМИ – были переведены в Фергану, в противотанковое артиллерийское училище ускоренного типа, организованное на базе эвакуированного Харьковского артиллерийского училища. Ни слова об этом я никогда от отца не слышал. И чего уж точно не было – лейтенантом из этого ХАУ отец не выпускался. В повести на фронт Кадушкин со товарищи, в том числе и Мишка Тырских, едут уже офицерами. Батя мой даже ефрейтором не был – он начал и закончил войну рядовым.

А сиротой он был только наполовину, без отца, но при живой матери и великом числе всяких родичей с обеих сторон.

Всё остальное вполне могло быть так, как описывается в повести.

Отец и дядя Коля Душкин – одного, 1922-го, года рождения. Это тот год, от которого из войны вышли трое из сотни. Стало быть, на каждого выжившего пришлось по тридцать два погибших и ещё один погибший в остатке.

Отец мой, многое в своей жизни утаивающий от меня, когда увидела свет дяди Колина повесть, по возрасту, характеру, фантазёрству своему, уже, наверное, помнил о себе и своём прошлом не только то, что было, но и то, что придумал.

Когда отца судили за безумную попытку подсказать вождям партии, как избежать развала Советского Союза, дядя Коля был одним из множества свидетелей на закрытом процессе и, по воспоминаниям отца, чуть ли не единственный вёл себя очень достойно, не трусил и пытался защитить друга.

Дядя Коля ушёл сравнительно молодым, но ему по крайней мере трижды сильно повезло. Он выжил на войне в числе трёх из ста. Он не знает, чем вскоре после его ухода стали «знамениты» близкие его солдатскому сердцу «Ташкент-машкент», Ленинабад и Фергана, Средняя Азия и вся страна, за которую он воювал. Он, наконец, продолжает жить в своих произведениях и в памяти людей, которым дорог сам и дорого то, что было дорого ему.

Должно быть, они встретились там, дядя Коля и мой отец, и вспоминают, что было с ними на войне и после войны, но нам уже не дано узнать всех подробностей, всей правды пережитого ими, и остаётся лишь иногда перечитывать повести, которые они захотели и успели написать для нас.



В мае 2023 года отмечают:

80-летие

Нармахан БЕГАЛЫУЛЫ, *поэт, переводчик*

70-летие

Шойбек ОРЫНБАЙ, *прозаик*
Серикбай БАЙХОНОВ, *прозаик*
Нурлан ЖЫЛКЫШИЕВ, *прозаик*

60-летие

Бауыржан ЖАКЫП, *поэт*
Жанат ТУРГЫМБАЕВ, *поэт*

50-летие

Бекабат УЗАКОВ, *прозаик*

Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляров!

